

*Посвящается
Норин Элизабет Дедо —
моей матери,
полюбившей меня
еще до моего первого вздоха
и подтверждавшей эту любовь
каждую секунду
моей жизни.*

Кого мы ищем? Кого мы ищем?
Мы ищем Эквиано.
Может, он ушел к ручью? Пускай вернется к нам.
Может, он ушел на ферму? Пускай вернется к нам.
Мы ищем Эквиано.

Африканская песня на языке семьи Ква, посвященная
исчезнувшему мальчику по имени Эквиано

Память — штука живая, и она тоже пребывает
в движении. Но в моменте все, что вспоминается
человеку, соединяется и оживает — стар и млад,
прошлое и настоящее, живые и мертвые.

ЮДОРА УЭЛТИ “Рождение одной писательницы”

Залив блестит, но тускло, как свинец.
Железной кромкою сияет брег Техаса.
Бездомен я — пока кипенье лета,
Бурля и клокоча от года к году,
Ждет того дня, когда во имя Бога
Огнем и углями развернется закат
Над головами тех, кто помыкает нами,
Евангелье которых — кнут и пламя,
И век за веком мертвые молчат.

ДЕРЕК УОЛКОТТ “Залив”

Глава 1

Джоджо

Мне нравится думать, что я знаю, что такое смерть. Что я могу смотреть на нее прямо. Па просит помочь ему; за поясом у него заткнут черный нож. Я выхожу следом за ним из дома, стараясь прямо держать спину, плечи вровень — как у вешалки. Как у Па. Я старательно делаю вид, что не вижу в происходящем ничего необычного, что мне это будто бы даже не в новинку, чтобы дать понять деду: я не зря ел свой хлеб все эти тринадцать лет. Чтобы он понял, что я потяну — смогу отделять внутренности от мышц, вытаскивать органы из полостей. Чтобы понял, что я нечураюсь крови. Сегодня мой день рождения.

Я останавливаю рукой захлопывающуюся за мной дверь и аккуратно притворяю ее — не хочу, чтобы бабуля с Кайлой проснулись и не обнаружили нас дома. Пускай спят. Пускай Кайла, моя маленькая сестренка, спит — всякую ночь, когда Леони на работе, она просыпается каждый час, садится на кровати и кричит. Пускай бабуля тоже спит — химия и так высушила

и опустошила ее, как палящее солнце и ветер сгнаивают черный дуб. Па петляет между деревьями, сам прямой, поджарый и смуглый, как молодая сосна. Он сплевывает в сухую красную землю, а ветер качает кроны деревьев. Холодно. Упрямая вышла весна — всего-то пара теплых деньков была. Холод никак не уходит, словно вода из засорившейся ванны. Толстовка осталась на полу в комнате Леони, в которой я спал, а футболка совсем тонкая, но я терплю и не потираю руки: поддамся холоду — точно вздрогну или не сдержу гримасы, когда Па перережет глотку козлу. А уж Па-то точно заметит — с него станется.

— Пускай спит малышка, — говорит он.

Дом наш, длинный и узкий спереди, дед построил сам — поближе к дороге, чтобы пришлось поменьше деревьев вырубать на участке. Свинарник, курятник и загон с козами он расположил на полянках между деревьями. Путь к козам лежал как раз мимо свинарника. Земля здесь черная и влажная от дерьма, и с тех пор, как Па отстегал меня в шесть лет за то, что я бегал тут без обуви, я ни разу не ступал сюда босиком. “Глистав наживешь”, — сказал он мне тогда. Тем вечером он мне рассказал, как они с братьями и сестрами играли в детстве босиком, потому что обувки у всех было по одной паре на каждого, и то для церкви. У них у всех были глисты, которых они в сортире вытаскивали у себя из задниц. Па я об этом не сказал, но рассказ вышел надежнее порки.

Па выбирает несчастного козла, затягивает ему петлей веревку вокруг шеи и выводит его из загона. Остальные блеют и толпятся вокруг него, бодают в ноги и лижут его штаны.

— Пшли! Пшли, кому говорю! — отпихивает их ногами Па.

Мне кажется, козы все понимают — я вижу это по тому, как агрессивно они бодают Па, кусают и тянут его за штаны. Мне кажется, они знают, что означает эта незатянутая веревка на шее. Белый с черными пятнами козел прыгает из стороны в сторону, сопротивляется, словно зная, что его ждет. Па тащит его мимо свиней, уже сгрудившихся у ограды загона и хрюкающих, прося у Па корма, дальше по тропинке к сараю, что у дома. Сухая листва хлещет меня по плечам, оставляя на руках длинные и тонкие белые линии.

— Па, а почему ты не срубишь тут деревья?

— А места мало потому что, — отвечает он. — Да и не надо никому видеть, что у меня тут за хозяйство.

— Но животных-то сразу слыхать, с дороги еще.

— Так ежели на них тут кто позарится, я их сразу по шороху деревьев-то и услышу.

— Думаешь, какие-нибудь из наших животных дадут себя украсть?

— Нет. Козы злые, а свиньи умнее, чем ты думаешь. И тоже злобные. Кто их не кормит постоянно, к кому не привыкли — тяпнут-то как следует.

Мы с Па заходим в сарай. Па привязывает козла ко вбитому в пол столбику — животное взвизгивает.

— Кто ж скотину на виду-то держит? — добавляет он. Оно и верно — никто в Бойсе не держит скот на открытом поле или перед домом.

Козел мотает головой, тянет веревку, пытается сбросить петлю. Па седлает животное и хватает его под подбородок.

— Ну, Большой Джозеф, — отвечаю я.

Хочется выглянуть наружу, смотреть на холодный, ясный весенний день спиной, но я заставляю себя смотреть прямо на деда, задирающего повыше голову обреченного на смерть козла. Па фыркает. Не хотелось упоминать это имя. Большой Джозеф — мой белый дедушка, а Па — черный. С Па я живу с самого рождения, а белого дедушку видел лишь дважды. Большой Джозеф высок, толст и совсем не похож на Па. Он не похож даже на моего отца Майкла, поджарого и покрытого с ног до головы татуировками. Он их делал так, как люди покупают сувениры — на память, у мастеров-любителей в Бойсе, на берегу, когда ходил в море, и в тюрьме.

— Вот так вот, — говорит Па.

Он валит козла с ног, как один борец — другого, и у скотины подгибаются колени. Козел падает мордой в грязь и смотрит на меня снизу вверх, вытирая щекой пыль с окровавленного пола сарая. Смотрит с мольбой, но я не отвожу взгляда — даже не моргаю. Па делает надрез. Козел взвизгивает от неожиданности, но быстро захлебывается — повсюду разливается и смешивается с грязью кровь. Ноги у козла подгибаются, как резиновые, и ослабевают, Па его уже толком не держит. Миг — и Па поднимается, затягивает веревку вокруг ног козла и вздергивает тушу на свищающем с балки крюке. Глаз животного все еще влажен. Он глядит на меня так, словно это я перерезал ему горло, словно это я выпустил ему всю кровь, окрасив ею его пухлую мордочку.

— Ну что, готов? — спрашивает Па, мельком стрельнув глазами в мою сторону.

Я киваю. Мои брови нахмурены, а лицо напряжено до предела. Стараюсь расслабиться, пока Па делает разрезы у ног животного, намечая линии.

— Хватай вот тут, — говорит Па, показывая на разрез на животе козла. Я запускаю туда ладонь и хватаюсь. Внутри все еще тепло и мокро. Держись, велю себе, держись.

— Тяни, — командует Па.

И я тяну. Теперь козел вывернут наизнанку. Повсюду слизь и вонь — острая и гнилостная, словно в сарай вошел пару недель не мывшийся мужик. Шкура отходит от мяса, словно кожура от банана. Я всегда удивлялся тому, как легко она отходит, если потянуть. Па сдирает шкуру с другой стороны, отрезая и сдергивая, когда доходит до ног. Я стягишаю шкуру вдоль ноги до самого копыта, но сдернуть ее, как Па, не могу — дальше он.

— Давай с другой стороны, — велит Па.

Я берусь за разрез напротив сердца. Здесь тело козла еще теплее, и я гадаю, не оттого ли это, что его сердце в панике забилось так сильно, что нагрело грудь. Но тут я замечаю, что Па уже сдергивает шкуру с копыта, и понимаю, что замешкался из-за своих мыслей. Не хочу, чтобы он принял мою медлительность за робость и слабость духа, решил, что я не могу спокойно смотреть на смерть, как подобает мужчине, а потому хватаюсь покрепче за шкуру и тяну. Па сдергивает последнюю полосу шкуры с копыта, и вот туша животного уже висит под потолком голая — лишь розовое мясо поблескивает в немногих пробивающихся в сарай лучах света. От козла осталась только мохнатая морда,

и это почему-то еще хуже, чем когда Па перерезал ему глотку.

— Тащи ведро, — говорит Па.

Я стаскиваю с одной из полок у задней стены са-
рая металлический таз и ставлю под тушей. Подби-
раю уже деревенеющую шкуру и складываю в посу-
дину — четыре куска.

Па делает надрез вдоль туши от середины жи-
вота и в ведро валятся внутренности. Он продол-
жает резать, удущливая вонь бьет так, словно ты
упал лицом в кучу свиного дерhma. Пахнет тру-
пом, гниющим в лесной глуши, который и заме-
тить можно только по вони да по вы涌现出ся вокруг
стервятникам. Пахнет опоссумом или броненос-
цем, которого переехала машина и который остался
гнить на асфальте дороги в жару. Только хуже. Пах-
нет еще хуже — это запах смерти, гнили, зарожда-
ющейся в трупе чего-то только что сдохшего и еще
не остывшего от горячей крови и жизни. Я кривлю
физиономию, пытаясь изобразить лицо, которое
делает Кайла, когда злится или теряет терпение —
со стороны тогда кажется, будто она учудила что-то
мерзкое: зеленые глаза прищуриваются, нос напру-
жинивается грибочком, а из-за приоткрытых губ
показывается дюжина крохотных молочных зубов.
Изобразить это я пытаюсь потому, что подспудно
надеюсь, сморщив нос, выдавить из него этот мерз-
кий запах, отрезать гнилостной вони дорогу внутрь
головы. Я понимаю, что передо мной лежат в ведре
козлиные желудок и кишki, но вижу перед глазами
лишь скривившееся лицо Кайлы да влажные глаза
козла. Я больше не могу смотреть — выбегаю из са-

рая; меня рвет на траву снаружи. Лицо словно пылает огнем, а руки совсем холодные.

Из сарая выходит Па с реберной частью туши в руке. Я утираю рот и гляжу на него, но он не смотрит на меня — кивает вместо этого в сторону дома.

— Кажись, малышка плачет. Ты бы сходил, проверил.
Засовываю руки в карманы.

— Помощь не нужна?

Па качает головой.

— Справлюсь уж, — отвечает он и смотрит наконец на меня, но без жесткости во взгляде. — Ступай.

А затем поворачивается и возвращается в сарай.

Па, видать, послышалось — Кайла спит. Лежит на полу в одних подштанниках и желтой футболке, раскинув ноги и руки, слово пытаясь обнять воздух. Я гоняю с ее коленки муху — надеюсь, та на ней просидела не все время, что мы с дедом провели в сарае. Они питаются гнилью. Когда я был маленький и еще называл Леони мамой, она говорила мне, что мухи едят деръмо. Тогда в жизни еще было больше хорошего, чем плохого. Тогда она раскачивала меня на качелях, которые дед повесил на ветке одного из пеканов перед домом, сидела и смотрела со мной телевизор на диване, глядя меня по голове. Это было до того, как она почти перестала появляться дома. До того, как начала снюхивать толченые таблетки. До того, как пустяковые гадости, которые она мне говорила, начали скапливаться и сильно врезаться в кожу, как песчинки в рассаженную коленку. Тогда я еще Майкла называл *Па*. Он тогда еще жил

с нами, еще не вернулся обратно к Большому Джозефу. Это было до того, как три года назад его забрали полицейские, до того, как родилась Кайла.

Всякий раз, когда Леони говорила мне какую-нибудь гадость, Ма велела ей оставить меня в покое. “Да я просто дурачусь с ним”, — отвечала Леони, широко улыбаясь и проводя ладонью по падающим на лоб коротким крашеным прядям. *Я подбираю цвет так, чтобы подчеркивали тон кожи, говорила она Ма, “Черный блеск”.* И добавляла: *Майклу очень нравится.*

Я накрываю Кайлу одеялом и ложусь на пол рядом. Ее крохотная ступня теплая на ощупь. Во сне она сбрасывает одеяло, хватает мою руку, притягивает ее к своему животу — и я обнимаю ее, пока она снова не успокоится. Я отгоняю назойливо кружашую муху; Кайла приоткрывает рот и тихонько всхрапывает.